

УРАЛЬСКИЙ ГОРОД МОЙ

1941 – 1945 гг.

АЛЕКСАНДРА
ГЕРАСИМОВНА ПАСТУХОВА

Качканар 2000

**Из далеких суровых лет,
дней, прожитых под крышей одною,
сохранился тропинки след –
память сердца жива со мною.**

**Семье Ивановых
Нижний Тагил, 1941–45 г.г.**

УРАЛЬСКИЙ ГОРОД МОЙ

Уральский город тыловой,
ты стал моим суровым домом.
Началом жизни трудовой,
совпавший с пуском первых домен.

А вскоре задышал мартен.
И первой плавки той анализ
вели, не чуя перемен,
до коих месяцы остались.

Когда в июньский светлый день
мы весть тяжелую узнали,
беды надвинувшуюся тень
еще не сразу осознали.

Доселе просто все казалось,
что жизнь и солнце – навсегда.
Но вдруг то, чуждое, ворвалось
в судьбы наши и года.

Еще вчера живя мечтою
о жизни светлой и большой,
мы оказались за чертою
вмиг проведенною войной.

Уже летели издалека
одна другой страшнее весть.
И мы в труде не знали срока.
Да не досыта стали есть.

Все изменилось как-то вдруг.
И молчаливей люди стали.
Так много беженцев вокруг.
А наши парни уезжали.

Отцы и братья, и сыны
Спешили к длинным эшелонам.
И знали, что не все они
вернутся к матерям и женам.

А население прибывало.
Заводы к нам привезены.
Было их тогда не мало
с Москвы и южной стороны.

Свое повторное рожденье
пришельцы завершали тут.
На фронте, знали, с нетерпением
от них продукции так ждут.

Заметно так преобразился
мартена цех НТМЗ.
Новый цикл работ внедрился —
и сталь другая на броне.

В лаборатории мартена
пары кислот и спешки ад.
И так прошли без перемены
четыре года все подряд.

Город быстро уплотнялся.
Эвакуированных — тьма.
Рынок "хитрый" оживлялся,
росла барышников толпа.

Один от голода спасался,
чтоб только выменять кусок.
Другой на горе наживался,
обманом просто грабить мог.

Трамваи так переполнялись,
линий было три маршрута,

вагоны чуть ли не ломались,
дверь в перекося едва сомкнута.

Спешили, чтобы не отстать.
А были строгие законы:
коль на работу опоздать –
урежут хлебные талоны.

Случалось, карточки теряли
на хлеб. Тогда совсем беда.
Других уже не выдавали.
И люди гибли иногда.

Да разве можно все сейчас
вписать бывшее в эти строки!
Не стану я тревожить вас
воспоминанием далеким.

СТАЛЬ

В городе, войною затемненном,
шагаю я по улицам ночным
туда, где спешно загружают домны,
где над мартеном вьется желтый дым.

Не дремлют люди в задубелых робах.
Жарко у мартеновских печей.
Горячий "скрип" бегом несут на пробу.
Как углерод? Да что же вы, скорей!

И мечемся среди кислот и чада –
навески, реактивы и подсчет...
Но знаем мы одно, что надо, надо!
В победу общий вклад и общий счет.

Но все ж в минуты краткого досуга,
чтоб не забыть и в памяти сберечь,
пишу про то, что над строною вьюга,
как сталь рождает огненная печь.

Течет металл, в орудья превращаясь,
не замедля грозный, ровный шаг.
Чтоб на его преграду натываясь,
лавиной тою захлебнулся враг.

Одетые в испытанную "форму" –
еще горячую Уральскую броню –
вползают танки сами на платформу
и едут в бой, сражаясь за страну.

Идут, идут стальные эшелоны
на запад, в пекло адское боев.
А здесь опять мартен для обороны
уж наполняет мульды до краев.

Волной горячею стальной
гордиться вправе долго будем.
Заслуг твоих перед строной,
Урала сталь, мы не забудем.

ШЕЛ ТРАМВАЙ

Идя маршрутом проторенным,
вагон натружено стучал.
Народ со смены, утомленный,
неразговорчив был, молчал.

И только редко кто—нибудь
соседу тихо слово бросит.
Нелегкий выпал людям путь,
была войны вторая осень.

И воздух будто настоялся
тревожно—стылой тишиной.
И разговор с ней не вязался
старушек за моей спиной.

В хозяйстве все у них исправно:
скотина, грядки и дома.
Одна с улыбкою забавно
другой сказала:

— И сама ты выглядишь еще не старо.
— Да где уж!.. Семьдесят седьмой.

Ну, а тебе?

— И мне немало, десяток
прожила восьмой.

Я откровенно подивилась
такой их старости живой.
Вторая смело обратилась
к соседке слева, пожилой:

— Вот вы, мне кажется, годами
постарше нас. И седина...
Та с неподвижными глазами
вся как—то сжалась у окна.

Она казалась мне больною:
худая, волос с сединой,
провалы щек, глаза с тоскою,
вся с нездоровой желтизной.

Гримаса боли и волнение
вдруг тронули ее черты.
(О, как жестоко то вторжение
порой невинной простоты).

Старушки ждали с нетерпением,
что скажет: чей старее лик?
И тут с надрывом, в исступленье
какой-то приглушенный крик:

– Нет! Ты, гражданка, не права!
И тише: Если б ты видала...
Мне только тридцать шесть едва...
И все. На этом замолчала.

И отвернулася к окну,
укутав зябко шалью плечи.
Не нарушали тишину
теперь смущенных бабок речи.

И настороженно затих
люди, во вздрагивающем трамвае.
Немало было здесь таких
приют нашедших в нашем крае

А женщина глядит в окно.
Что видит там, за далью? Что же?
Знать, очень страшное оно...
Так помоги ей вынести, боже!

1942 год.

КРАЮШКА ХЛЕБА

Жидкий суп из зеленой капусты,
на второе — колючий овес.
А в желудке по-прежнему пусто,
только голод лишь больше возрос.

Осторожно кладу на газету
сэкономленный хлебный паек.
За краюху бесценную эту
надо выменять мыла кусок.

Да и платье вот-вот расползется
со следами от капель кислот...
На ногах (только обувь зовется)
брезентушки разинули рот.

Пребываю в печальном раздумье:
сколько надо еще недоесть,
чтоб скопить подходящую сумму
на одежду, какую ни есть.

И внезапно, свистяще над ухом:
— Как я голоден!.. Девка, прости...
Пальцы цепко схватили краюху,
чтоб надежду мою унести.

Я вскочила, горя возмущеньем.
Но грабитель мой не побежал,
он кусал и глотал с нетерпением,
только взгляд его страшный блуждал.

Подтянув деревянную ногу,
он на месте остался стоять,
а глаза источали тревогу
и угрозу: попробуй отнять!

Посмотрев в те глаза, изумилась:
сколько было в них боли немой!
О потере я вдруг позабыла
перед горькой чужою бедой.

Надо было уйти поскорее.
Я ушла. Хлеб остался при нем.
Но ему-то гораздо больнее
вспомнить будет об этом потом.

1943 год.

БУХАНКА С ДОВЕСКОМ

Очередь подвигалась медленно. Продавщица, внимательно осмотрев хлебную карточку, аккуратно отрезала талончик, точно взвешивала положенные граммы.

Парень решил взять сразу на два дня (завтра не стоять) 1600 граммов, целая буханка! Даже с довеском. Получив ее, он вышел из магазина и с аппетитом стал жевать довесок. И тут кто-то потянул его за рукав. На него смотрела девчонка, неуверенно шевеля губами.

– Чего тебе?

– Отломи немного, – вымучено, тихо выговорила она, – немного...

Парень помолчал, потом сказал:

– Идем!

Она как будто оживилась, но тут же сникла.

– Нет...

– Как хочешь, – парень пошел прочь.

Помедлив, она неуверенно двинулась за ним.

В барачной комнате он усадил девчонку на табурет, разрезал хлеб, подвинул половину гостю. Она ела жадно, торопясь. И плакала. Беззвучно, горько. Парень резко встал из-за стола, подошел к ней. Девчонка испуганно вскочила, положила на стол надкусанную краюшку. В глазах – отчаяние, испуг.

Парень взял со стола другую половину, протянул ей:

– Иди!

Она смотрела на него и не верила. Но хлеб взяла. Тогда он решительно проводил ее к двери.

Они встретились вновь после войны. Сейчас в их семье уже взрослые внуки.

ДОМИК НА ТРИ ОКОШКА

В домик низенький на три окошка
мне однажды случилось зайти.
Так хозяйка и девочка – крошка
на моем повстречались пути.

Ситчик простенький в синий листочек
принесла им, чтоб платьице сшить.
Тот дешевенький ткани кусочек
так на долго нас смог подружить.

Шла война. Неуютно и стыло
в моем каменном холодном углу.
Я нередко в тот дом приходила.
Знала, здесь я согреться могу.

Потом и совсем поселилась.
А вещичек – то – все на себе.
Хозяйка моя подивилась:
знать, не жарко в одежке тебе?

На подкладочке "рыбьей" пальтишко,
сапоги на ногах – самоклеи.
Да, конечно, нарядов не лишка.
Но дождемся других, верю, дней.

Так и жили одною семьею
В этом маленьком домике тут:
мать с дочуркой и младшей сестрою,
я, которой здесь дали приют.

А судьба все листала страницы...
Но не ведомо было и ей,
что в избушку беда постучится –
похоронка хозяйке моей.

Серый лист той бумаги казенной.
Слов не много. Но трудно читать.
Смотрит дочка на мать удивленно:
почему мама плачет опять?

Третий год наступил в это лето,
а войне и не видно конца.
Не понять было девочке этой,
что уже не увидит отца.

Чередой безрадостных буден
потекли эти черные дни.
Сколько ж их, кому также вот труден
час беды, что познали они.

Только жизнь—то она продолжалась.
Каждый день — работать, и есть.
Боль остыла, но в сердце осталась,
чтоб напомнить порою: я здесь.

Бежали трудные те дни,
дожди сменялись на метели...
Не вечны были и они.
И вот весна. Грачи летели.

Апрель к исходу. Грозы мая
снарядов гром идут сменить.
Первый ливень, все сметая
прошел, чтоб землю обновить.

Скоро, скоро... Все уж ждали,
что дни последние идут.
Девятый Май! И в синей дали —
Победы праздничный салют!



В домик маленький на три окошка
утром майским Победа вошла.
Пятилетняя девочка—крошка
к портрету отца подошла.

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Смотрю на швейную машинку –
и вижу тот далекий день:
на молодой щеке – слезинку,
во вдовьем взгляде – скорби тень.

Надежда слабая теплилась:
а вдруг ошибка – листик тот?
И получать не торопилась
на дочку деньги целый год.

Прийти повесткой пригласили.
Не ты одна, вдова, смирись.
Ей компенсацию вручили,
сказали просто: "Распишись".

Остался он на поле брани,
отдал он жизнь за жизнь страны...
В руке дрожащей – в виде дани –
пакет купюр. Пеки блины

на тризну храброго солдата.
Что оставалось делать ей?
Холодной болью сердце сжато...
За все три тысячи рублей.

Решила краткие поминки
на память долгую сменить –
и вот внесла домой машинку,
чтоб дочке дар отца вручить.

Прошли года, десятилетия,
воды немало утекло,
следы, смывая лихолетья.
Приветно светится окно

(уже не в старенькой лачужке,
где мать с дочуркой на руках).
И убеленная старушка
с заботой ласковой в глазах.

Все изменилось в этом мире:
уж дочку бабушкой зовут,
и вещи новые в квартире.
Но только ты, как прежде, тут, –
машинка из суровых буден!
Стоишь под старым колпаком
напоминаньем: не забудем.
Как память добрая о Нем.

ВСТРЕЧА

Вновь сливался с далеким пожарищем
неприветливый зимний закат.
Отходили, теряя товарищей,
было тяжело в душе у солдат.

Их теснили. Их было шестнадцать,
а сегодня осталось лишь пять.
И к своим не сумели прорваться.
Скоро ночь. Надо утром искать.

Шли гуськом по глубокому снегу,
избегая открытых дорог.
Рады были любому ночлегу,
даже просто зарывшись в сугроб.

Низкорослый лесок не густой –
здесь решили, и сделать привал –
тоже не был оставлен войной...
И не добрый здесь ветер гулял.

Отдыхали в холодном овраге.
Что ж, таков уж солдатский удел.
И сержант, он был старший в отряде,
у пенька занесенного сел.

Потеснее к нему прислонился,
чтоб от ветра хоть спину сберечь.
Задремал. Дом родимый приснился.
Мать, покойная, хлеб садит в печь.

Только здесь ни печи и не лета,
а война не родимая мать.
Отдохнули все ж. Ну а с рассветом
собрались, чтобы дальше шагать.

Вот сержант за пенек ухватился
и вскочил, разминаясь: продрог.
Тут с пенька рухнул снег, обвалился.
Нет, такого он видеть не смог...

За три года военных дорог
поведал он не мало смертей.
Чем же так испугать его мог
этот пенёк среди пихтовых ветвей?

Труп сидел, повернувшись спиной,
чуть склонившись, как будто дремал,
был со снежной в кудрях сединою...
Но солдат его сразу узнал.

Вспомнил тот уходящий вагон
(Ленька раньше отца призывался).
Сына встретить надеялся он.
Вот и свиделись. Вот... повстречались.

Просидели всю ночь спина в спину
мертвый сын и отец, чуть живой.
Нет, не выдумать горше картину –
быль, рожденную только войной...

Землю стыльную спешно долбили.
Пихта ворохом – мягче лежать.
И как памятку ствол надрубили.
Как же матери, Ленька, сказать?

Мы уходим, прости уж, сынок,
я вернусь к тебе, ты погоди...
А в глазах – тот застывший пенек.
Боль застряла осколком в груди.



Не дожил до Победы желанной
тот сержант и вернуться не смог.
И остался в лесу безымянном
похороненный Ленька, сынок.

ОБНОВКА

Первый год после войны. Я работала на Новотагильском заводе. С одежкой – обувкой было плохо. На рынке ("хитрым" тогда прозывался) что-то можно было еще купить. Туда я и направилась. Глинистая почва, размытая осенними дождями, засасывала, мешая передвигаться.

Вскоре увидела то, что искала. Невдалеке мужик сапоги держит, вижу – мне подходящие. А подойти не могу, брезентушки мои влипли в глину. Помахала продавцу: иди, мол, сюда. Мужик подходит. Смотрю: сапожки аккуратненькие, черненькие, гладенькие, и размер мой, и цена сходная. Подошла женщина, тоже интересуется обувкой, тянет, сапоги к себе и вроде деньги готовит. Разволновалась я, боясь, конкурентки, сама цену набавила. К моей радости, женщина отдала сапоги, отошла. Расплатилась я. Продавец, весело пожелав мне долгой носки, смешался с толпой.

Утром в хорошем настроении собираюсь на работу: теперь и слякоть не страшна.

Трамвай не ходили. Не миновала еще и улицу Ленина – почувствовала неладное. В сапогах захлюпало, ногам стало холодно. И одна за другой отстали подошвы, обнажив оскал деревянных шпилек, идти, стало невозможно. И опаздывать нельзя. Разорвала носовой платок, подвязала кое-как подошвы. Только бы дойти, только бы... Когда подходила к зданию нашей лаборатории, оказалось, что обрывки платка давно остались на дороге. Подошвы еле держались на запятниках. При каждом шаге приходилось взмахивать подошвами, с хлопаньем опуская их на землю.

Так вошла я, вернее, въехала в лабораторию. Слышу чей-то голос:

– На лыжах там кто-то, что ли?

Увидели меня – и смех, и сочувствие. Домой возвращалась я с привязанными на мои расхристанные сапоги где-то найденными старыми калошами.

Не сбылось пожелание продавца. Слил черный глянец с размокших, искусно склеенных картонок. На другой день моя обнова валялась на мусорке.